

СЕРГЕЙ ШАПОВАЛОВ

КТО-НИБУДЬ ЗАМЕТИТ



Сергей Шаповалов

Кто-нибудь заметит.

«Автор»

2026

Шаповалов С.

Кто-нибудь заметит. / С. Шаповалов — «Автор», 2026

Они находят подростков в соцсетях — тихих, уставших, одиноких. Дают задания, обещают «море» и «кита», который унесёт от боли. Имя этому — «Синий кит», и за каждым шагом стоит взрослый, который точно знает, что делает. Повесть о деструктивном онлайн-сообществе, которое методично превращает детскую тоску в суицид. Здесь нет монстров из фильмов ужасов — только переписки, кураторы и алгоритмы, что шепчут юным: «Ты никому не нужен». История о тех, кто попал в сеть, и о тех, кто пытался их вытащить — родителях, учителях, сверстниках. О том, как подростковый бунт становится инструментом, а внимание взрослых — единственной защитой. Книга для тех, кто хочет понять механику манипуляции и увидеть, как распознать беду, пока ещё можно успеть.

© Шаповалов С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	6
ПРОЛОГ — «Фотография»	8
Крыша	8
Всё, что она делала в это утро, — надела куртку, вышла в подъезд, поднялась на лифте, — казалось ей не вполне настоящим, как будто она смотрела на себя со стороны, как смотрят на актрису в театре, не вполне веря в подлинность её движений. И только холод парапета, врезавшийся в ладони, возвращал ощущение собственного тела. Тела, с которым через минуту предстояло расстаться.	9
Всякая разлука есть малая смерть, но смерть добровольная есть величайшая из разлук. И странное дело: в ту минуту, когда решение уже принято, когда мост между тобой и миром уже подождён и осталась лишь тонкая доска последнего шага, — вдруг начинаешь видеть всё с необыкновенной ясностью. Так, говорят, бывает с приговорёнными: стена камеры, которую ты видел тысячу раз, вдруг открывает тебе каждую свою трещину, каждое пятно сырости, как будто мир, уходя, хочет напоследок показать всё, что ты в нём не замечал.	10
Тихое утро продолжалось, и город жил своей жизнью, не зная, что только что на одном из его парапетов, на высоте четырнадцатого этажа, была одержана самая важная из побед — победа над самим собой. И что просвет в сером небе, случайно попавший в объектив телефона, стал для кого-то не просто полосой света, а дверью, в которую можно войти.	11
Телефон	11
Кабинет следователя	15
Квартира погибшей	20
Дом Кравцова. Вечер	24
Как закаляется галька	28
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Сергей Шаповалов

Кто-нибудь заметит.

От автора

Я пишу эти строки не как писатель, укрывшийся в башне из слоновой кости, а как человек, который долго — слишком долго — не решался взяться за этот текст. Меня останавливал страх. Страх спекуляции на чужой боли. Страх, что любое художественное осмысление подобной трагедии окажется фальшивым — как бодряя музыка в больничной палате.

Но год шёл за годом, а тема не уходила. Она лежала на поверхности нашей жизни, как незакрытый перелом. Мы — общество, родители, учителя, чиновники — отреагировали на появление «групп смерти» именно так, как реагирует человек на внезапную боль: криком, паникой, суетой. Заблокировали. Посадили. Приняли закон. И выдохнули. Решили, что справились.

Мы не справились.

Потому что проблема никогда не сводилась к одному человеку из Солнечногорска. Он не был порождением ада. Он был порождением того же самого общества, в котором живём мы с вами — и наши дети. Общества, где родительская любовь измеряется количеством кружков и репетиторов. Где школьный буллинг считается «этапом взросления». Где подросток может месяцами не говорить ни с кем по душам, и никто — никто — этого не замечает.

«Синий кит» не был первопричиной. Он был катализатором. Лакмусовой бумажкой, проявившей то, что мы усердно прятали от самих себя: эпидемию детского одиночества. Дети, попадавшие в эти игры, не были глупее или слабее своих сверстников. Они были — и остаются — просто более честными в своём отчаянии. Они не умели притворяться, что всё хорошо.

Когда я изучал материалы для этой повести — протоколы допросов, переписки, заключения психологов, — меня поразила одна деталь. Почти в каждом случае рядом с ребёнком были взрослые. Родители. Учителя. Соседи. Они были рядом физически. Но ребёнок шёл за ответами не к ним, а к незнакомцу в интернете. К «куратору». К тому, кто отвечал в три часа ночи. Кто слушал. Кто — пусть с чудовищной, извращённой целью — но признавал: да, тебе плохо, и это важно.

Вдумайтесь в это. Незнакомец с преступными намерениями оказался внимательнее, чем мы.

Моя повесть — не документальное расследование. Я не ставил задачу восстановить хронологию событий или назвать реальные имена. Это художественное осмысление. Но каждая сцена, каждый внутренний монолог, каждый диалог выстроен на фактах — на том, что действительно происходило в России с 2015 года и, боюсь, происходит до сих пор в несколько иных формах. Зло мутирует. Вчера это был «Синий кит». Сегодня — «Красный дельфин» и закрытые каналы с инструкциями по изготовлению оружия. Завтра появится что-то ещё. Технологии меняются, но механизм остаётся прежним: найти одинокого, предложить смысл, окружить иллюзией понимания, а затем — шаг за шагом — отобрать волю.

Эта книга обращена в первую очередь ко взрослым. Не к детям — хотя, вероятно, они тоже её прочитают. Но мой адресат — тот, кто сегодня вечером, устав после работы, отмахнётся

от тихого: «Пап, можно спросить?» Тот, кто проверяет телефон ребёнка тайком, вместо того чтобы спросить прямо: покажи, что тебе интересно. Тот, кто уверен, что его семью это не коснётся, потому что у них «всё благополучно».

Благополучие — это не доход. Это не оценки в дневнике. Это не кружок робототехники и английский три раза в неделю.

Благополучие — это когда ребёнок знает: что бы ни случилось, он может прийти к вам. И вы его услышите. Не осудите. Не накажете за правду. Не скажете «сам виноват» и «соберись, тряпка». А просто будете рядом.

Бывший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров сказал однажды фразу, которую я вынес бы в эпиграф ко всей нашей системе воспитания: «Запрещать бесполезно, можно только замещать. Семьям, где есть любовь и взаимопонимание, никакие „синие киты“ не страшны».

Вот об этом и написана повесть. О любви — той самой, негромкой и незаметной, которая не читает нотации, а сидит рядом на кухне. О пропастях, которые мы роём собственными руками, сами того не замечая. О том, что дьявол больше не приходит с рогами и копытами. Он приходит в четыре двадцать утра. В личные сообщения. С вежливым предложением дружбы.

И ещё — о надежде. Потому что, пока мы способны услышать друг друга, ни один кит не уплывёт навсегда.

ПРОЛОГ — «Фотография»

Крыша

Крыша девятиэтажки, провинциальный город, ноябрьское утро, 7:14 23.

Всё, что она делала в это утро, — надела куртку, вышла в подъезд, поднялась на лифте, — казалось ей не вполне настоящим, как будто она смотрела на себя со стороны, как смотрят на актрису в театре, не вполне веря в подлинность её движений. И только холод парапета, врезавшийся в ладони, возвращал ощущение собственного тела. Тела, с которым через минуту предстояло расстаться. Она достала телефон. Движение это было медленное, почти торжественное, как всё, что делается в последний раз. Пальцы дрожали, но не от холода — от того особенного внутреннего напряжения, которое бывает, когда душа уже простилась с жизнью, а тело ещё медлит, ещё цепляется за грубую материю мира.

Небо было серое, с одним-единственным просветом — длинной, неавильной формы полосой, похожей на затягивающуюся рану. Она подняла телефон и сделала снимок. В этом жесте не было художества, не было желания запечатлеть красоту. Было нечто другое — последняя попытка оставить свидетельство, сказать кому-то, всем: вот что я вижу, вот из какого мира я ухожу.

На экране, освещённом бледным утренним светом, возникли буквы: «конец». И ниже — значок решётки, этот странный символ нового времени, за которым следовало слово «тихийдом».

Ветер гнал по асфальту обрывки жёлтых листьев, и они шуршали тем особенным сухим шорохом, который бывает только осенью, когда лист уже мёртв, но ещё не стал землёй. Где-то далеко залаяла собака — звук этот долетел до неё приглушённо, как сквозь вату. Город просыпался: где-то гудели первые машины, где-то хлопнула дверь подъезда, — но все эти звуки были для неё уже чужими, как голоса людей, говорящих на языке, которого она больше не понимала.

Всякая разлука есть малая смерть, но смерть добровольная есть величайшая из разлук. И странное дело: в ту минуту, когда решение уже принято, когда мост между тобой и миром уже подожжён и осталась лишь тонкая доска последнего шага, — вдруг начинаешь видеть всё с необыкновенной ясностью. Так, говорят, бывает с приговорёнными: стена камеры, которую ты видел тысячу раз, вдруг открывает тебе каждую свою трещину, каждое пятно сырости, как будто мир, уходя, хочет напоследок показать всё, что ты в нём не замечал.

И она стояла и смотрела на серое небо, и в просвете его, который с каждой секундой становился шире, было что-то похожее на вопрос. Или на ответ — она ещё не знала. Пальцы её, сжимавшие холодный бетон, побелели. И вдруг — странное, невыразимое чувство: тело, это неповоротливое, тяжёлое, предающее тело, которое она собиралась сбросить, как ненужную одежду, — оно вдруг напомнило о себе болью. Самой простой, физической болью от холода. И в этой боли было всё: и биение сердца, и тепло крови, и миллионы лет эволюции, кричащие ей: живи.

И она остановилась.

Не потому, что передумала. И не потому, что испугалась. А потому, что вдруг поняла — или ей показалось, что поняла, — ту простую и страшную истину, которую Толстой, сам стоявший на краю не раз, выразил словами: жизнь есть движение, и пока есть движение — есть жизнь. А движение это не в ногах, не в руках, не в сердце даже. Оно — вот в этом просвете между тучами, который вдруг стал расширяться, как будто само небо раздвигало занавесю.

Ветер ударил в лицо, бросил прядь волос на глаза. Она не убрала её.

Тихое утро продолжалось, и город жил своей жизнью, не зная, что только что на одном из его парапетов, на высоте четырнадцатого этажа, была одержана самая важная из побед — победа над самим собой. И что просвет в сером небе, случайно попавший в объектив телефона, стал для кого-то не просто полосой света, а дверью, в которую можно войти.

Телефон

Экран телефона, ещё секунду назад погасший и чёрный, как закрытые глаза, вдруг ожил. Задрожал — сперва едва заметно, потом сильнее, потом ещё, и вот уже вибрации слились в один непрерывный, жужжащий гул, похожий на звук пойманной в стеклянную банку мухи — тот особенный, отчаянный, безнадежный звук, который издаёт живое существо, понявшее, что выхода нет.

Уведомления сыпались одно за другим. Сердца, восклицательные знаки, круговые стрелки репостов — весь этот странный, механический язык одобрения, который заменил собою прежнее человеческое тепло. И удивительное дело: каждый новый значок, каждая новая красная точка на экране не радовали её, но и не оставляли равнодушной. Они действовали на неё так, как действует на утопающего крик с берега: ты уже не можешь спастись, но сам факт, что тебя видят, что к тебе обращены чьи-то голоса, — этот факт имеет значение. Последнее значение.

«Вот, — подумала она, и мысль эта была горькой, как желчь, — вот оно, моё наследство. Мои похороны. Только я ещё жива, а они уже ставят сердца. Они уже пересылают друг другу мою смерть, как пересылают смешную картинку, как пересылают новость о чужом несчастье, чтобы на секунду почувствовать себя живыми на фоне чужой беды».

И тотчас же другая мысль, ещё более горькая: «А чего ты ждала? Ты сама выставила это. Сама нажала кнопку. Сама превратила свой конец в зрелище — и теперь удивляешься, что на него пришли зрители».

Она знала, что это правда. Она знала, что во всём, что с ней происходило, — и в этом утре, и в этом парапете, и в этом хештеге — была не только чужая воля, но и её собственная. И от этого знания было тяжелее всего. Потому что если ты сам выбрал свою гибель — на кого пенять? На Бога, которого нет? На людей, которые таковы, какими ты их всегда знала? На куратора, который лишь подтолкнул туда, куда ты и так шла?

Она смотрела на экран, не прикасаясь к нему. Пальцы всё ещё лежали на холодном бетоне парапета, и она чувствовала, как холод этот медленно, но верно поднимается от ладоней к запястьям, от запястий к локтям, как будто само её тело постепенно превращалось в часть этой крыши, в часть этого бетона, в часть этого серого, равнодушного утра.

А телефон всё дрожал.

В числе десятков сообщений — пестрых, громких, полных восклицательных знаков и пустых, как осенние стручки, слов ободрения — она вдруг заметила одно. Оно не было похоже на другие. Не было в нём ни сердечка, ни смайлика, ни привычного «держись» или «ты сильная». Оно было короткое, как команда. Как приказ.

Отправитель значился: «Куратор #4».

Имени не было. Лица не было. Был только номер — холодный, безличный, почти военный. И от этой безличности веяло чем-то таким, от чего у неё, несмотря на ветер, вдруг пересохло во рту.

Текст гласил:

«Ещё не время. Ты должна дойти до конца. 50-й день. Я скажу когда».

Она прочитала это сообщение трижды, как читают приговор — сперва быстро, не веря, потом медленно, вникая в каждое слово, и наконец в третий раз, уже с тем особенным, почти религиозным чувством, с которым человек в отчаянии перечитывает строки, решающие его судьбу.

«Ещё не время... Ты должна дойти до конца...»

Она вдруг поймала себя на том, что мысленно произносит эти слова с той же интонацией, с какой в детстве повторяла за учительницей непонятные английские глаголы — не понимая смысла, но чувствуя: за этими звуками что-то стоит. Что-то большее, чем она сама. Что-то, чему нельзя противиться.

«Но почему — должна? — спросила она себя, и вопрос этот вспыхнул в ней с неожиданной яростью. — Кому должна? Ему? Этому безымянному номеру? Этой цифре четыре, за которой — что? Человек? Машина? Игра? И почему пятьдесят дней? Почему не сорок девять? Почему не пятьдесят один? Кто установил этот срок — и по какому праву?»

И тут же сама себе ответила — тем холодным, беспощадным голосом, каким мы говорим с собой в минуты предельной честности:

«Ты сама установила. Ты сама дала согласие. Ты сама подписалась на игру, правил которой не знаешь, — и теперь не тебе спрашивать о праве».

Что значит — принадлежать? Что значит — отдать свою волю другому?

Толстой писал об этом в дневниках — о том, как легко человек, уставший от свободы, передаёт её первому встречному. Потому что свобода тяжела. Свобода требует выбора. А выбор требует мужества. И когда мужества нет — остаётся подчинение. Подчинение, которое мы охотно принимаем за судьбу, за необходимость, за «так надо», — лишь бы не признаваться себе в том, что мы просто испугались быть свободными.

Она стояла и думала: вот я, девочка из обычного двора, с обычными двойками в школе, с обычной первой любовью, кончившейся пшиком, с обычной работой, на которую ходила сквозь силу, — я, самая обыкновенная, каких миллионы, — как я дошла до этого? До паркета. До хештега. До сообщения, в котором незнакомец с военным позывным распоряжается моей смертью, как распоряжаются посылкой на складе?

И ответ — страшный в своей простоте — пришёл сразу: «Ты дошла до этого, потому что хотела быть не как все. Потому что обыкновенность душила тебя. Потому что ты предпочла особенную смерть обыкновенной жизни. И вот — ты получила. Ты особенная. Ты — участница. У тебя есть куратор. У тебя есть зрители. У тебя есть пятьдесят дней. Радуйся».

Радуйся. Она повторила это слово про себя — и вдруг, неожиданно для самой себя, усмехнулась. Усмешка вышла кривая, горькая, похожая на гримасу боли. Но это была усмешка. А усмешка — уже движение души. А движение души — уже жизнь.

«Ещё не время». Что значат эти слова? Отсрочку? Помилование? Или, напротив, обещание чего-то ещё более страшного — того, что должно случиться на пятидесятый день, когда неведомый куратор скажет своё «когда»?

Она перебирала в уме возможные смыслы, как перебирают чётки — механически, без веры, но с надеждой на успокоение.

Может быть, «ещё не время» значит: ты ещё не готова. Ты ещё сомневаешься. Ты ещё дрожишь — не от холода, а от страха. А для настоящего конца нужна ясность. Нужна тишина. Нужно, чтобы внутри всё улеглось, как укладывается пыль после взрыва.

Может быть, «ещё не время» значит: ты нужна нам живой. Твоя смерть — это ресурс. Твои пятьдесят дней — это топливо. Каждый твой пост, каждый твой снимок, каждая твоя слеза, выставленная на всеобщее обозрение, — всё это питает чью-то машину. И пока машина не насытится — ты не умрёшь.

Может быть, «ещё не время» значит: ты передумашь. Ты сама, без приказа, без команды, без куратора — просто однажды проснёшься на пятидесятый день и поймёшь, что не хочешь умирать. И тогда игра кончится. И куратор исчезнет. И хештег станет просто словом.

А может быть — и эта мысль была самой страшной, — может быть, «ещё не время» не значит ничего. Может быть, за этими словами нет никакого смысла, никакого плана, никакой логики. Может быть, куратор — такой же заложник игры, как и она сама. Может быть, он тоже сидит где-то на краю и ждёт, когда кто-то скажет «пора». И этот кто-то — не человек. Этот кто-то — алгоритм. Случайный таймер. Бездушная программа, которая даже не знает, что она убивает.

И от этой последней мысли ей вдруг стало так страшно, как не было ещё ни разу за все эти дни. Потому что если твоей смертью управляет не злая воля, а равнодушный механизм, — то кому мстить? Кого проклинать? К кому обратиться последний крик?

Некому.

Человек не властен над своею жизнью, пока он не властен над своею смертью. Но и обратное верно: человек, отдавший свою смерть в чужие руки, отдаёт и жизнь. И она, стоя на краю, вдруг поняла это с той особенной, пронзительной ясностью, которая приходит только на границе.

«Я больше не принадлежу себе, — подумала она, и мысль эта была спокойной, как вода в колодце. — Я принадлежу этому сообщению. Этому номеру. Этому таинственному куратору с цифрой четыре — как будто были и другие, как будто целая система, целый невидимый механизм стоит за этим коротким текстом. Но даже не ему я принадлежу. Я принадлежу самой игре. Я принадлежу ожиданию. Я принадлежу этим пятидесяти дням, которые кто-то — или что-то — назначил мне прожить».

И странное дело: впервые за две недели она почувствовала — нет, не надежду. Надежда слишком тёплое, слишком живое чувство. То, что она почувствовала, было скорее похоже на отсрочку, которую дают приговорённому к казни, когда палач вдруг опускает топор и говорит: «Подожди. Ещё не рассвело».

И эта отсрочка — холодная, казённая, чужая — была почти тем же самым, что и надежда. Почти.

«Почти, — повторила она про себя. — Какое странное слово. Почти жива. Почти умерла. Почти свободна. Вся моя жизнь теперь — это "почти"».

Она медленно, очень медленно убрала руки с парапета. Ладони застыли, пальцы не гнулись. Она подула на них — пар от дыхания смешался с ветром и тут же исчез.

Телефон всё ещё дрожал в кармане куртки — новые уведомления, новые сердца, новые пустые слова. Но она больше не смотрела на них. Она смотрела на просвет в небе, который за эти минуты стал ещё шире, ещё светлее, как будто само мироздание раздвигало тучи, чтобы дать ей увидеть: есть ещё свет. Есть ещё день. Есть ещё — пока — время.

Пятьдесят дней.

«Пятьдесят дней, — думала она, спускаясь по лестнице и считая ступени, чтобы не думать о другом. — Сорок девять после этого. Сорок восемь. Сорок семь. И так до нуля. Или до единицы? Когда говорят "дойти до конца" — что имеется в виду? Нулевой день? Или первый день после? И что будет потом — когда я дойду? Он скажет: "Пора"? Или он скажет: "Ты прошла. Ты свободна. Живи"?»

И вдруг, на площадке между двенадцатым и одиннадцатым этажом, она остановилась.

«А если он скажет "живи" — смогу ли я? Смогу ли я, после всего этого, после хештегов, после подписчиков, после того, как я уже мысленно попрощалась с миром, — смогу ли я просто вернуться? Пить кофе. Ходить на работу. Смотреть в потолок по ночам. Смогу ли я жить, зная, что моя жизнь — это не моя жизнь, а чей-то подарок? Чья-то милость? Чьё-то "ещё не время"?»

Она не знала ответа. Но сам вопрос — сам факт того, что она задала его, а не шагнула в пустоту, — уже был ответом.

Она не знала, что будет на пятидесятый. Не знала, кто этот куратор и зачем ему её смерть. Но она знала другое — то, что знает каждый человек, получивший отсрочку: сегодня можно не умирать. Сегодня можно просто выйти во двор. Услышать, как шуршат под ногами сухие листья. Почувствовать запах бензина от старой машины, прогревающей мотор.

И может быть — только может быть — выпить кофе.

Чёрного. Без сахара. Как она любила.

«Глупо, — подумала она, толкая тяжёлую дверь подъезда. — Стоять на краю и думать о кофе. Но ведь всё так и устроено: мы не живём великими идеями. Мы живём кофе. Запахом бензина. Шорохом листьев. Холодом парапета, который вдруг напоминает, что ты ещё здесь. Ещё в теле. Ещё — почти — жива».

Она отступила от края. Сделала шаг. Потом ещё один. Потом повернулась спиной к серому небу и пошла к двери, ведущей на лестницу.

Виброзвонки в кармане постепенно стихали, как стихает буря, как стихает боль, как стихает всё — даже самое страшное, — когда отсрочка становится надеждой, а надежда, пусть и чужая, пусть и призрачная, возвращает человеку то единственное, без чего невозможна жизнь.

Движение.

Вся жизнь есть движение. Движение мысли, движение чувства, движение тела. И пока есть движение — есть жизнь. Не важно, кто дал тебе эту жизнь. Не важно, кто дал тебе эту отсрочку. Важно только то, что ты делаешь с ней сейчас. В это мгновение. На этой ступени. С этой дрожью в пальцах.

Она спускалась вниз. Ступенька за ступенькой. Этаж за этажом. И с каждым шагом что-то внутри неё — то самое, что ещё полчаса назад было сжато в ледяной комок, — начинало медленно, осторожно, как зверь после зимней спячки, шевелиться.

Где-то внизу хлопнула дверь подъезда — кто-то вышел, кто-то зашёл. Город жил. Ветер гнал по асфальту листья. И среди десятков сообщений, оставшихся без ответа, только одно — «Ещё не время. Я скажу когда» — знало правду. Но правда эта пока молчала. А может быть, правда эта была не в сообщении. Может быть, правда эта была в том, что девочка в расстёгнутой куртке, замёрзшая, дрожащая, ещё не знающая, кто она — жертва или участник, — просто спускалась по лестнице. И этого было достаточно. Потому что движение, простое движение вниз, к земле, к жизни, к кофе, — оно и было ответом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — «Хештег»

Глава 1. «Аня»

Кабинет следователя

Кабинет майора Кравцова мало походил на то место, где совершаются великие дела. Это была комната — обыкновенная, казённая, с облупившимся подоконником и вечным запахом табака, въевшимся в бумаги, в шторы, в саму душу этого помещения. На стене висел календарь

за две тысячи шестнадцатый год — и висел он там не потому, что кто-то забыл его снять, а потому, что никому не было до этого дела. Время в этом кабинете текло иначе, чем снаружи: снаружи мчалось, летело, обгоняло самое себя, здесь же — застревало между папками, цеплялось за остывший чай в стакане, и засыпало, и не просыпалось годами.

Алексей Дмитриевич Кравцов, майор сорока одного года, сидел за столом и перебирал бумаги. Лицо его — усталое, с глубокими мешками под глазами и аккуратно выбритыми висками, в которых серебрилась ранняя проседь, — выражало ту особенную, почтительную скуку, какая бывает у человека, давно привыкшего к тому, что его работа состоит из бесконечного повторения одних и тех же действий. Ворот его рубашки был расстёгнут — не по уставу, а по той простой причине, что в этом кабинете, в этом здании, в этой жизни устав давно уже уступил место привычке, а привычка — усталости.

Он не думал ни о чём особенном. Вернее, думал о том, о чём думает всякий человек за сорок, сидящий на казённой службе: что жизнь проходит, что когда-то он мечтал о другом, что сыну тринадцать, а он вчера опять не спросил, как у него дела в школе. Но мысли эти были неотчётливы, как дождь за окном, — они шли и шли, не оставляя следа.

Дверь открылась без стука. Так входил только один человек во всём отделе — лейтенант Гриша Мальцев, двадцати семи лет, худощавый, в очках, с той особенной, угловатой манерой двигаться, какая бывает у людей, выросших не во дворах, а перед экранами. Он был единственным, кто понимал, как работают соцсети, — и оттого занимал в отделе положение странное: его терпели, как терпят переводчика с иностранного, без которого не обойтись, но которого никто не считает вполне своим.

— Алексей Дмитрич, — сказал он, кладя на стол распечатку. Голос его звучал не так, как обычно. В нём было что-то, заставившее Кравцова оторваться от бумаг не сразу, но с тем внутренним напряжением, какое бывает у старого служаки, почуявшего беду ещё до того, как она названа.

— Что там у тебя, Мальцев? — спросил Кравцов, не поднимая глаз. — Опять хакеры биткоины воруют?

Он сказал это почти машинально, как говорят фразу, которую произносил уже сто раз. Но Гриша не улыбнулся.

— Хуже. Девочка. Пятнадцать лет. Вчера. Прыгнула с крыши.

Кравцов отложил ручку. Медленно, очень медленно, как человек, который знает, что следующая минута изменит всё, — и хочет оттянуть её наступление. Поднял глаза.

— Пятнадцать. Господи.

Он не был религиозен. Это «Господи» вырвалось у него непроизвольно — так вырывается стон у раненого, так вырывается вздох у человека, получившего известие о смерти того, кого он даже не знал, но чья смерть почему-то ударила его сильнее, чем смерти тех, кого он знал хорошо.

— Что, несчастная любовь? — спросил он, и в вопросе этом была надежда. Глупая, нелепая надежда взрослого человека, который хочет, чтобы tragedia оказалась понятной. Потому что понятное — даже самое страшное — всё же легче непонятного.

Гриша сел напротив. Поправил очки — движение, которое Кравцов знал наизусть и которое всегда предшествовало чему-то важному.

— Если бы. Следователи с места изъяли телефон. Там переписка. Есть группа в ВК. Есть куратор. Он ей задания давал. Пятьдесят дней. Последнее — прыгнуть.

Наступила тишина. Та особенная, плотная тишина, какая бывает только в казённых помещениях, когда сказано что-то, не укладывающееся в голове. Слышно было, как за окном проехала машина. Как в коридоре кто-то засмеялся — чужим, далёким, почти неприличным смехом. Как тикают часы на стене — те самые, что висели здесь, наверное, с постройки здания.

Кравцов взял распечатку. Держал её перед собой, но не читал — смотрел сквозь, в пустоту. Мысль его, всегда медленная, основательная, теперь металась, как птица, ударившаяся в стекло.

— Куратор, — произнёс он наконец, и слово это вышло у него чужим, незнакомым, как слово иностранного языка. — Это что же — человек? Живой человек приказывал ребёнку прыгнуть?

Он спрашивал не Гришу. Он спрашивал мироздание. Он спрашивал ту самую пустоту, в которую смотрел секунду назад. Потому что ответ — любой ответ — был невыносим.

— Именно так, товарищ майор, — сказал Гриша тихо. — И она не первая. Я пробил хештеги — таких групп десятки. Сотни детей.

Сотни детей.

Кравцов повторил эти слова про себя. Сотни. Не одна. Не две. Сотни. И каждая — чья-то дочь. Чей-то сын. Каждый из них, наверное, сидел когда-то на коленях у матери. Каждый, наверное, боялся темноты и просил не выключать свет. Каждый верил, что мир — это место, где взрослые защищают. А теперь — сотни.

Он встал. Резко, слишком резко для человека его комплекции и его привычек. Подошёл к окну. Достал сигарету — движение, которое он повторял тысячи раз и которое теперь показалось ему почти неприличным, почти кошунственным: как можно закуривать, когда где-то, в морге, лежит пятнадцатилетняя девочка, которой кто-то приказал умереть?

Но он закурил. Потому что руки должны были чем-то заняться. Потому что если бы они не занялись сигаретой — они бы, наверное, начали крушить мебель.

— Сотни детей, — сказал он, глядя в окно, в серое небо над серым городом, — а мы сидим тут и воров-рецидивистов ловим.

Он не обвинял никого. Он констатировал факт. И от этого факта — простого, неопровержимого — ему вдруг стало физически плохо, как бывает плохо, когда ты понимаешь, что

опоздал. Что всё самое важное случилось без тебя. Пока ты перебирал бумаги. Пока ты пил остывший чай. Пока ты думал, что главная твоя работа — ловить карманников и составлять протоколы.

— Гриша, — сказал он, не оборачиваясь. — Подними всё, что найдёшь. По этим хештегам. Все группы. Все переписки. Всех кураторов.

— Так точно, — ответил Гриша, и в его голосе Кравцов услышал то, чего не слышал давно: не просто готовность подчиниться, а готовность идти до конца. То, что называют «энергией заблуждения», но что на самом деле было единственной энергией, способной хоть что-то изменить в этом мире.

— Я пойду к полковнику, — продолжал Кравцов. Он говорил медленно, как будто каждое слово давалось ему с трудом. — И... — он запнулся, и в этой запинке было всё: его собственное детство, его собственный сын, его собственный страх, который он никогда не называл по имени. — Мне нужно к родителям этой девочки. Кто у неё?

Гриша опустил глаза. Он знал то, что собирался сказать, и знал, что каждое слово будет ударом.

— Мать. Отец ушёл три года назад.

Три года. Три года без отца. Три года — и вот теперь без дочери. Кравцов представил эту женщину, которую никогда не видел. Представил, как она открывает дверь. Как смотрит на него, на его форму, на его лицо — и ещё не знает, но уже догадывается. Представил — и содрогнулся.

Он тушил сигарету долго, тщательно, как будто от того, насколько аккуратно он это сделает, зависело что-то важное. Потом взял куртку.

— Поехали.

В машине они молчали. Кравцов смотрел в окно на проплывающие мимо дома, на людей, спешащих по своим делам, на детей, идущих в школу, — и все они казались ему теперь другими. Хрупкими. Обречёнными. Как будто над каждым из них уже стоял невидимый куратор с невидимым секундомером и отсчитывал: сорок девять, сорок восемь, сорок семь.

И он думал. Думал о том, о чём боялся думать все последние годы, — о сыне.

Сыну было тринадцать. Тринадцать — тот самый возраст, когда ребёнок ещё вчера был ребёнком, а сегодня уже чужой человек. Он запирается в своей комнате. Он что-то печатает в телефоне. Он говорит: «Пап, отстань». И ты отстаёшь — не потому, что тебе всё равно, а потому, что ты устал. Потому что ты пришёл с работы. Потому что ты хочешь просто посидеть в тишине. Потому что тебе кажется, что время ещё есть — всегда есть, бесконечно есть, — и ты успеешь спросить завтра.

А завтра может не быть.

Эта мысль, простая и страшная, обожгла его сильнее, чем хотелось бы признать. Сильнее, чем все мысли о работе, о долге, о присяге. Потому что можно ловить преступников, можно раскрывать дела, можно получать звания и награды — но если ты не знаешь, что делает твой собственный сын вечерами в своём телефоне, то какая цена всему остальному?

— Алексей Дмитрич, — сказал вдруг Гриша, — вы в порядке?

— В порядке, — ответил Кравцов.

И это была ложь. Но ложь, которую Гриша понял и принял — потому что сам чувствовал то же самое.яг

Толстой писал: нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Но он мог бы добавить: нет правды там, где нет мужества её увидеть. И Кравцов, глядя на серые дома, на серое небо, на серый, как этот город, календарь на стене своего кабинета, который он теперь уже никогда не сможет видеть по-прежнему, — чувствовал, что правда эта стоит перед ним во весь рост. И она требует не просто слов. Не просто протоколов. Не просто отчётов перед начальством.

Она требует действия.

И он — впервые за долгое, очень долгое время — был готов действовать. Не потому, что так велел устав. Не потому, что так требовала присяга. А потому, что где-то там, в морге, лежала девочка, у которой больше не будет ни вторников, ни календарей, ни отцов — ни настоящих, ни ушедших. И потому, что где-то там, дома, сидел его собственный сын, у которого — пока — всё это ещё было.

— Гриша, — сказал он, не оборачиваясь, — когда вернёмся, я хочу, чтобы ты показал мне все эти группы. Все эти хештеги. Всё, что знаешь. Я должен понять.

— Понять что, товарищ майор?

— Понять, как мы это пропустили, — ответил Кравцов. — И как сделать так, чтобы больше не пропускать.

Машина свернула во двор. Обычный двор, обычная пятиэтажка, обычная дверь подъезда. За этой дверью жила женщина, которая ещё не знала, что её жизнь кончилась. И человек в расстёгнутой форме, с мешками под глазами и ранней проседью на висках, должен был сейчас подняться по лестнице и сказать ей об этом.

Он вышел из машины.

Постоял секунду.

И пошёл.

*Календарь в пустом кабинете, оставшись один, продолжал висеть на стене — две тысячи шестнадцатый год, давно прошедший, никому не нужный, пыльный. И только остывший чай в гранёном стакане, казалось, знал то, что Кравцов только начинал понимать: время не ждёт. И нет ничего

Квартира погибшей

Дверь открылась не сразу. Сперва — тишина за цепочкой, потом шорох, потом глазок потемнел на мгновение: её разглядывали. И в этой заминке, в этом настороженном молчании было уже всё — и горе, и страх, и то особенное, почти физическое нежелание впускать в дом чужих, которое бывает у людей, чья жизнь только что разбилась.

— Что вам? — голос прозвучал глухо, как из-под воды. — У меня дочь вчера похоронили.

Она сказала «похоронили» — не «похоронила». Как будто сама уже не вполне принадлежала к миру живых. Как будто вместе с дочерью похоронили и её — просто забыли опустить в землю.

Кравцов стоял на лестничной клетке, чувствуя всю тяжесть своей формы, своих погон, своего присутствия здесь — чужеродного, почти оскорбительного в своей казённости. Он, повидавший за годы службы десятки смертей, — пьяные драки, бытовые поножовщины, нелепые автокатастрофы, — он, казалось бы, привыкший, — сейчас не мог найти ни одного слова, которое не было бы фальшивым.

— Я знаю, — сказал он. — Я майор Кравцов. Мне нужно понять, что случилось с вашей дочерью. Пожалуйста. Это важно. Не только для вас.

Последние слова он добавил почти против воли. И тотчас усомнился: имел ли он право их произносить? Не было ли в них той особенной, чиновничьей лжи, когда «не только для вас» на самом деле означает «и для отчётности»? Но он знал — нет. Он знал, что с той минуты, как Гриша положил перед ним распечатку, что-то в нём перевернулось. И теперь это было важно. Важно само по себе, а не для протокола.

Цепочка звякнула. Дверь приоткрылась.

Женщина, стоявшая на пороге, была моложе, чем он ожидал, — тридцать восемь, но выглядела на все пятьдесят. Осунувшееся лицо, красные глаза, в которых уже не было слёз — только сухость, страшная, как выжженная земля. Руки тряслись — мелкой, непрерывной дрожью, какая бывает у людей, переставших есть и спать. От неё пахло корвалолом и чем-то ещё — тем неуловимым запахом горя, который не спутаешь ни с чем.

— Проходите, — сказала она и, не оборачиваясь, пошла на кухню. — Только... я не знаю, что случилось. Я ничего не знаю.

Квартира была чистенькая, бедная — из тех, где каждая вещь на своём месте не от аккуратности, а оттого, что вещей этих мало и каждая на счету. Кравцов шёл по коридору и смотрел на стены. Они были увешаны фотографиями — от младенчества до школьного выпускного. Вот Аня в кружевном чепчике, беспомощная, как все младенцы. Вот Аня с бантами, перво-

классница, с букетом гладиолусов, который больше её самой. Вот Аня-подросток — уже не девочка, ещё не женщина, с той особенной, трогательной угловатостью, какая бывает в тринадцать-четырнадцать лет. И вот последняя — выпускной, белый фартук, неуверенная улыбка, как будто она уже тогда знала что-то, чего не знал никто.

Он прошёл на кухню. Сел за стол. Блокнота не достал — нарочно. Он знал: если достанет блокнот, превратится из человека в следователя. А сейчас нужен был человек.

— Аня была... обычная, — сказала мать, и голос её звучал ровно, слишком ровно, тем страшным спокойствием, которое приходит, когда всё уже выплакано. — Училась на четвёрки. Рисовала. В пятницу мы с ней пирог пекли. Яблочный.

Она замолчала. И в этой паузе было всё: запах яблочного пирога, который ещё, наверное, стоял в этой кухне; руки дочери, месившие тесто; обыкновенный пятничный вечер, каких были сотни и каких больше не будет никогда.

— А в воскресенье её не стало, — закончила она, и голос сорвался.

Кравцов молчал. Он знал: в такие минуты слова не помогают. Помогает только присутствие — молчаливое, неподвижное, как свидетельство того, что мир ещё не рухнул до конца.

— У неё были друзья? — спросил он, выждав время. — В школе? В интернете?

— В школе — не очень. — Мать посмотрела в окно, где серое небо висело над серым двором, такое же безнадежное, как всё вокруг. — Она замкнутая в последнее время была. Говорила, что её не понимают. Я думала — возраст. Думала — пройдёт.

Она всхлипнула — коротко, сухо, как ломается ветка.

— Я всё думала — пройдёт. А оно не прошло.

И опять Кравцов почувствовал то, что чувствовал каждую минуту в этом доме: страшную, невыносимую тяжесть чужого горя, к которому ты не имеешь отношения, но которое почему-то становится и твоим тоже. Потому что ты — отец. Потому что у тебя тоже есть ребёнок. Потому что ты тоже думаешь — пройдёт, возраст, само рассосётся, — и отмахиваешься, и не спрашиваешь лишний раз, и веришь, что всё хорошо. А потом — не проходит.

— Она в телефоне много времени проводила? — спросил он осторожно, уже зная ответ, уже предчувствуя его.

— Как все сейчас. — Мать пожала плечами, и в этом движении была целая эпоха — эпоха, когда дети уходят в экраны, а родители остаются по эту сторону стекла, не в силах пробиться. — Я проверяла иногда. Но там всё на замке — пароли, приложения какие-то. Мне подруга говорила: проверяй, следи, читай переписки. А я думала — нельзя так. Ребёнку нужно доверять.

Она замолчала. Кравцов видел, как слова эти — «доверять», «нельзя так», «я думала» — перекатываются в ней, как камни, и каждое оставляет рану.

— Доверие, — повторила она глухо. — Вот что я ей дала. Доверие.

И в этом слове, произнесённом с такой горечью, было всё осуждение самой себе, весь приговор, который она уже вынесла и который никто — ни суд, ни следствие, ни сам Господь Бог — не мог бы смягчить.

Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Но он не дописал — или не решился дописать — продолжение: что самое страшное несчастье — это то, в котором ты сам себя считаешь виноватым. Потому что с чужим злом можно бороться. С болезнью можно бороться. С несправедливостью можно бороться. Но как бороться с самим собой? Как победить собственную мысль о том, что ты могла — должна была — что-то сделать и не сделала?

Кравцов смотрел на эту женщину и видел: она уже проиграла эту битву. Она уже признала себя виновной. И никакое следствие, никакой суд, никакое наказание настоящего преступника — если его вообще найдут — не снимут с неё этого приговора. Потому что есть вина юридическая, а есть вина материнская, и последняя не имеет срока давности.

— Вы не вините себя, — сказал он тихо, и сам почувствовал, как фальшиво звучат эти слова. Не потому, что он в них не верил, а потому, что они были слишком малы. Слишком ничтожны перед масштабом горя. Как пытаться закрыть ладонью пробоину в днище корабля.

— Я найду тех, кто это сделал, — продолжил он, и теперь голос его звучал иначе. Твёрже. Жёстче. Это говорил уже не просто человек — говорил майор, говорил следователь, говорил тот, кто привык доводить дело до конца. — Обещаю.

Мать подняла на него глаза. И в этом взгляде — долгом, неподвижном, почти нечеловеческом в своей прямоте — было что-то такое, от чего Кравцову захотелось отвести взгляд. Но он не отвёл.

— Найдёте — и что? — спросила она. — Аню это не вернёт. Ничего не вернёт.

Кравцов не нашёлся что ответить.

Он мог бы сказать про правосудие. Про закон. Про справедливость. Про то, что преступник должен быть наказан — не только ради мёртвых, но и ради живых. Ради тех, кто ещё не стоит на краю. Ради тех, кого ещё можно спасти. Всё то, во что он сам верил — искренне, твёрдо, — ещё час назад, когда Гриша впервые положил перед ним распечатку.

Но здесь, на этой кухне, перед этой женщиной, поседевшей за одни выходные, перед этим взглядом, в котором уже не было ничего, кроме пустоты, — все эти слова казались ему фальшивыми, как фантики от конфет. Яркие. Блестящие. Пустые внутри.

Потому что правосудие — это для живых. А для мёртвых — только память. И для тех, кто их любил, — только боль.

Он сидел молча, опустив голову. Руки его — большие, сильные, привыкшие к оружию и бумагам — лежали на столе неподвижно, как чужие. За окном ветер гнал по асфальту обрывки

листьев. Где-то далеко лаяла собака. Где-то гудел мотор — старая машина, прогревающаяся во дворе. Мир продолжал жить — равнодушно, монотонно, как будто ничего не случилось.

Но для этой женщины мир кончился. И Кравцов знал это. Знал, что никакие его слова, никакие его обещания, никакие его будущие рапорты и раскрытые дела не изменят этого главного, простого и страшного факта: Ани больше нет. И не будет. Никогда.

Он поднялся. Медленно, тяжело, как поднимаются после удара.

— Я оставлю вам свой номер, — сказал он. — Если вспомните что-то. Или просто... если захотите поговорить. В любое время.

Мать не ответила. Она смотрела в окно, где серое небо наконец прорвалось — по стеклу поползли первые капли дождя. Медленные, тяжёлые, как слёзы, которые она уже выплакала.

Кравцов положил на стол визитку. Постоял ещё секунду. Повернулся и пошёл.

В коридоре он снова прошёл мимо стены с фотографиями. И вдруг остановился. Всмотрелся в последний снимок — выпускной, белый фартук, неуверенная улыбка. И подумал о том, о чём боялся думать все эти дни: о том, что его собственный сын — живой, тёплый, смеющийся — сидит сейчас дома и, может быть, делает уроки. А может быть, сидит в телефоне. В том самом телефоне, где невидимые кураторы расставляют свои сети. Где каждый хештег — как крючок. И где следующей Аней может стать кто угодно.

Он вышел на лестничную клетку. Прислонился к стене. Закрыл глаза.

— Алексей Дмитрич, — услышал он голос Гриши откуда-то снизу. — Вы как?

— Нормально, — ответил Кравцов. — Поехали. У нас много работы.

И это была правда. Но не вся. Потому что, спускаясь по лестнице, он думал не о работе. Он думал о сыне. О том, что сегодня вечером он обязательно сядет рядом с ним и спросит — не «как дела в школе», не «ты уроки сделал», а просто: «Покажи мне свой телефон. Покажи, во что ты играешь. Покажи, с кем ты общаешься. Я хочу понять. Я должен понять».

И ещё он думал о том, что правосудие — это не только протоколы и приговоры. Правосудие — это когда ты успеваешь спросить. Пока не поздно.

Дождь за окнами типовой двушки всё шёл и шёл — мелкий, осенний, безнадёжный. На кухне, где ещё неделю назад пахло яблочным пирогом, теперь пахло только корвалолом и одиночеством. Мать сидела неподвижно, сжимая в руках старенький телефон дочери — тот самый, который следователи вернули после осмотра. Она не умела его разблокировать. Но она знала: за этой чёрной стеклянной пластиной — целый мир. Мир, в котором её дочь жила тайной жизнью. Мир, в котором кто-то — чужой, невидимый, безымянный — приказывал ей прыгнуть. И она прыгнула.

Мать сидела и смотрела в окно. И думала о том, о чём думают все матери, потерявшие детей: что если бы она тогда, в пятницу, когда они пекли пирог, спросила не «как дела?», а «что у тебя на душе?» — всё могло бы сложиться иначе. Если бы она не думала, что пройдёт. Если бы не боялась нарушить границы. Если бы доверяла не словам, а глазам — тем самым глазам, которые на фотографии выпускного уже смотрели куда-то мимо, в ту сторону, где нет ничего, кроме серого неба и пустоты.

Дом Кравцова. Вечер

Кравцов вошёл в дом поздно. Тот особенный, липкий вечерний час, когда усталость уже не просто чувствуется в теле, а становится как будто отдельным существом, сидящим на плечах. Он повесил пальто, поставил портфель — старый, потёртый, с оторванной ручкой, которую он всё собирался пришить и не пришивал уже третий год, — и прошёл на кухню.

Свет горел тёплый, жёлтый, домашний. На плите стояла кастрюля с ужином: гречка, кажется, или что-то в этом роде — запах был уютный, детский, тот самый запах, который бывает только дома и который не спутаешь ни с чем. Из дальней комнаты доносился голос жены — она укладывала младшего, и голос этот, монотонный, убаюкивающий, звучал как колыбельная, хотя слов было не разобрать.

А за кухонным столом, уткнувшись в планшет и нацепив наушники, сидел Егор.

Тринадцать лет. Тот самый возраст при котором человек уже не ребёнок, но ещё не взрослый, и оттого мучается больше, чем будет мучиться когда-либо потом. Угловатый, с пробивающимся пушком над губой и вечно взъерошенными волосами. В наушниках что-то долбило — Кравцов слышал этот ритмичный, механический стук даже с порога.

Он сел напротив. Не снял китель, не отодвинул кастрюлю — просто сел и посмотрел на сына. Посмотрел так, как не смотрел, наверное, уже несколько лет. Потому что обычно — работа, усталость, «дай поесть спокойно». А сегодня было иначе. Сегодня он видел перед собой не просто своего мальчика, а того самого подростка, который — как все они теперь, как тысячи, как сотни тысяч — живёт наполовину в мире, где нет ни отцов, ни матерей, ни законов. Где куратор с номером вместо имени может приказывать тебе умереть — и ты умрёшь.

— Егор, — сказал он.

— А? — отозвался сын, не поднимая головы.

— Сними наушники. Разговор есть.

Егор стянул наушники медленно, нехотя, тем самым движением, которое знакомо всякому родителю подростка и которое означает: «Я слушаю, но мне это неинтересно, и вообще ты отвлекаешь меня от чего-то важного». Планшет он не отложил — просто прижал к груди, как щит.

— Ну, — сказал он. — Я ничего не натворил.

И в этой фразе — «я ничего не натворил» — было всё. Она означала: я знаю, что ты садишься напротив меня только когда что-то случилось. Я знаю, что наш обычный разговор — это «ты уроки сделал?» и «как дела в школе?» — два вопроса, на которые я отвечаю «да» и «нормально», даже если всё не так. Я знаю, что ты не говоришь со мной просто так. Никогда не говоришь.

И Кравцов — он это понял. Понял так ясно, как будто сын выкрикнул эти слова ему в лицо.

— Я не про то, — сказал он, и голос его прозвучал мягче, чем обычно. Мягче, чем он сам ожидал. — Слушай... у тебя в школе — все эти группы, паблики, ВКонтакте... ты в каких-нибудь странных состоишь?

Егор напрягся. Это было почти незаметное движение плеч, едва уловимое изменение в лице, — но Кравцов, следователь с двадцатилетним стажем, увидел его сразу. Как видит охотник след зверя на снегу.

— Каких странных? — спросил Егор, и вопрос этот был слишком осторожным, чтобы быть невинным.

— Ну, где про китов пишут. Про то, чтобы проснуться в четыре двадцать. Про игры на пятьдесят дней.

Кравцов перечислял это — киты, четыре двадцать, пятьдесят дней — как перечисляют симптомы болезни. Как будто сам звук этих слов мог подтвердить или опровергнуть диагноз. И пока он говорил, он смотрел на сына — не как следователь, нет. Как отец. Как человек, который боится услышать ответ.

Егор отвёл взгляд.

— Я в такие не хожу, — сказал он. И потом, чуть быстрее, как будто спеша отвести подозрение: — Но у нас полкласса подписано. Там мемы просто, приколы. Все сидят.

Полкласса. Все сидят. Мемы, приколы. Кравцов вдруг почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось — тонкая нить, которая ещё связывала его с тем миром, где «все сидят» означает просто «все сидят», а не «все стоят на краю». Он представил этот класс — тридцать человек. Половина — пятнадцать детей. Пятнадцать егоров, у каждого свой планшет, свои наушники, своя тайная жизнь за паролем. И где-то среди них, может быть, уже есть тот, кому написал куратор.

— Егор, — сказал он, и голос его изменился. — Посмотри на меня.

Егор поднял глаза нехотя, медленно, как будто весили они целую тонну. И Кравцов увидел в этих глазах что-то, чего не видел раньше. Или видел, но не хотел замечать. Страх. Нет, даже не страх — опасение. То, что бывает у человека, который знает больше, чем говорит.

— Вчера девочка прыгнула с крыши, — сказал Кравцов. — Ей было пятнадцать. Она тоже думала, что это приколы.

Он замолчал. Слова эти, произнесённые вслух на его собственной кухне, над его собственной кастрюлей с ужином, над его собственным сыном, — они прозвучали иначе, чем в кабинете, чем в машине, чем в квартире у матери. Здесь они были не просто информацией. Здесь они были предупреждением. Мольбой. Почти молитвой.

— Если тебе кто-то напишет — дай знать. Обещаешь?

Егор молчал. Это не было дерзкое молчание подростка, который хочет показать, что он сам по себе. Это было другое молчание — тяжёлое, как камень на дне реки.

— Ты никогда раньше не спрашивал, что у меня в телефоне, — сказал он наконец, и в голосе его не было упрёка. Было только удивление. Горькое, почти взрослое удивление человека, который привык к тому, что его не спрашивают.

И Кравцов, услышав это, почувствовал то, чего не чувствовал давно. Стыд. Самый обыкновенный, жгучий, невыносимый стыд — не служебный, не формальный, а отцовский. Стыд за все вечера, когда он приходил с работы и не спрашивал. За все выходные, которые он проводил за бумагами. За все разы, когда он думал: «Потом. Завтра. На следующей неделе. Как-нибудь».

— Я знаю, — сказал он тихо. — Я... много чего не спрашивал.

Он положил руку на плечо сына — тяжёлую, тёплую, чуть дрожащую от усталости или от чего-то другого. И повторил:

— Обещаешь?

— Ладно, — сказал Егор.

И это «ладно» было не просто согласием. Оно было перемирием. Тем редким, хрупким перемирием между отцом и сыном, которое случается, когда оба понимают: что-то изменилось. Что-то уже никогда не будет как прежде.

Кравцов вышел из кухни. Егор остался сидеть за столом. Планшет лежал перед ним, экран погас, но он не включал его. Он смотрел в одну точку — в стену, где висела фотография: он, маленький, на плечах у отца, оба смеются. Ему было лет пять. Отцу — за тридцать. Оба ещё не знали ничего. Ни про китов, ни про четыре двадцать, ни про игры на пятьдесят дней. Ни про то, что однажды наступит вечер, когда отец сядет напротив и спросит — не про уроки, не про школу, а про то, от чего может зависеть жизнь.

И он думал.

Он не сказал отцу правду. Не сказал, что позавчера ему пришло приглашение в закрытую группу. Оно пришло ночью — значок уведомления на пустом, чёрном экране, короткое «ты_избран_ждём», — и он, полусонный, машинально нажал. Группа открылась. Там были картинки. Киты. Часы, показывающие четыре двадцать. Какие-то люди без лиц. Какой-то список — с датами, с цифрами, с никами, — и напротив каждого ника стояло: «день 12», «день 28», «день 47». Он не стал читать дальше. Вышел. Заблокировал телефон. Но не удалил приглашение.

Почему не удалил? Он и сам не знал. Может быть, из любопытства. Из того самого страшного, жгучего любопытства, которое заставляет смотреть на край крыши и думать: а что там? Может быть, потому, что боялся: удалишь — а они узнают. Они всё узнают. Они всегда всё узнают.

А может быть — и эта мысль была самой стыдной, самой невыносимой, — может быть, потому, что ему понравилось. Не сама группа, не киты, не часы. А то, что его выбрали. Что кто-то — пусть невидимый, пусть страшный — обратил на него внимание. На него, Егора Кравцова, обыкновенного тринадцатилетнего мальчика с тройкой по физике и вечно развязанными шнурками. На него — лично.

И теперь, глядя на ушедшего отца, на его сутулые плечи в расстёгнутой форме, на проседь в висках, которой он раньше не замечал, — он впервые за долгое время почувствовал не раздражение, а что-то похожее на стыд. Стыд за то, что он видел и промолчал. Стыд за то, что он не удалил. Стыд за то, что где-то в этом городе, в эту самую минуту, какая-то девочка прыгнула с крыши — а он, Егор, мог бы, может быть, что-то сделать. Рассказать. Предупредить. Но не сделал.

Егор взял планшет. Открыл ВКонтакте. Нашёл то приглашение — оно всё ещё висело в непрочитанных. Палец завис над кнопкой «удалить».

Но он не нажал.

Вместо этого он сделал скриншот. И написал короткое сообщение — отцу. Первое за много месяцев, которое начиналось не с «пап, дай денег».

«Пап. Тут такое дело. Пришло сегодня. Я не знаю, важно или нет. Посмотри».

И отправил.

А потом всё-таки удалил и приглашение, и переписку. И почувствовал — странно, неожиданно, — как будто с плеч упало что-то тяжёлое. Как будто он только что не удалил сообщение, а закрыл дверь. Запер её на ключ. И выбросил ключ в окно.

В соседней комнате Кравцов услышал сигнал телефона. Достал. Прочитал. И замер.

Сын прислал ему скриншот. Приглашение в группу. Закрытую. С теми самыми словами, которые он сегодня слышал уже дважды — но теперь они были адресованы не чужой девочке, а его собственному мальчику.

Он стоял и смотрел на экран. И думал о том, что всё, что он делал сегодня, — от кабинета до квартиры матери, от матери до полковника, от полковника до этой кухни, — всё это было важно, всё это было нужно. Но самое важное случилось только что. Здесь. В нескольких метрах от него. Когда его сын, тринадцатилетний мальчик в наушниках и с планшетом, сделал то, чего не сделала та девочка, — сказал.

Сказал отцу.

И Кравцов, старый майор, выдавший виды, повидавший всякое, — он вдруг почувствовал, как к горлу подступает комок. Не от горя. От благодарности. От того особенного чувства, когда ты понимаешь: ты не опоздал. Ещё нет.

Он не пошёл к сыну — не стал, не захотел спугнуть этот момент лишними словами. Просто написал в ответ:

«Это важно. Ты всё правильно сделал. Я разберусь. Спасибо».

И убрал телефон в карман.

Ночью, когда все уснули, Кравцов вышел на балкон. Закурил. Небо было чёрное, без звёзд — обыкновенное городское небо, затянутое тучами и подсвеченное снизу оранжевым светом фонарей. Где-то далеко гудела машина. Где-то ещё дальше лаяла собака. Город спал — или делал вид, что спит.

Он думал о том, что сегодняшний день изменил всё. Не в отделе — в отделе всё шло своим чередом, папки, протоколы, рапорты. А в нём самом. В том, как он смотрел на сына. В том, как сын смотрел на него. В том, что между ними вдруг — впервые за долгое, очень долгое время — протянулась нить. Тонкая, хрупкая, как паутина. Но она была. И этого было достаточно.

Потому что правосудие, думал он, туша сигарету, — это не только приговоры. Не только протоколы. Не только раскрытые дела. Правосудие — это когда отец успевает спросить. Когда сын успевает ответить. Когда между ними — не стена, а мост.

И ещё он думал о том, что завтра утром он первым делом пойдёт к Грише и скажет: «Вот новый след. Вот новое приглашение. Вот то, что пришло моему сыну. Работай».

А потом он пойдёт к полковнику. И скажет то, что не решался сказать раньше: «Этим нужно заниматься. Не одним отделом. Не одним управлением. Всей страной. Потому что если мы не защитим их — кто защитит?»

На кухне, в темноте, погасший планшет Егора вдруг мигнул — пришло уведомление. Потом ещё одно. Потом ещё. Но он спал, и экран погас, так и не разбуженный. А утром, когда он проснётся и возьмёт планшет в руки, он увидит: группа удалена. Чат заблокирован. Следов больше нет.

Но это будет завтра. А пока — ночь. Тихая, мирная, самая обыкновенная ночь над самым обыкновенным городом. И в одной из его квартир спит мальчик, который сегодня впервые почувствовал: стыд — это ещё не приговор. Стыд — это начало.

Как закаляется галка

Кабинет истории помещался на втором этаже, и было в нём то особое, казённое уныние, которое свойственно всем школьным кабинетам мира — независимо от страны, языка и эпохи.

Пахло мелом и пылью, старые карты на стенах пожелтели и заворачивались по углам, портреты полководцев глядели сурово и безразлично, а парты — исцарапанные, исчерченные неразборчивыми признаниями и формулами — стояли тремя неровными рядами, как солдаты разбитой армии.

До звонка оставалось семь минут. Семь минут — самое опасное время. Учителя ещё нет, класс предоставлен сам себе, и в этой пустоте, в этом безвластии, всегда находится кто-то, кто спешит заполнить его собою. Сегодня таким был Дима Карпов.

Карпову было пятнадцать, и он принадлежал к той породе мальчиков, которых природа наделяет всем сразу: ростом, шириной плеч, уверенной улыбкой и тем особенным, почти звериным чутьём на чужую слабость. Он был заводилой — не потому, что был умнее или добрее других, а потому, что говорил громче, толкался первым и никогда, ни на секунду, не сомневался в своём праве быть главным. Такие люди редко бывают счастливы сами, но почти всегда умеют сделать несчастными окружающих.

За последней партой у окна сидел Арсений Горелов.

Ему было четырнадцать. Он был худ — той особенной, нескладной худобой, какая бывает у мальчиков в пору бурного роста, когда тело вытягивается быстрее, чем наливается силой. Сутулился. Носил тёмную, не по размеру большую толстовку с капюшоном, которая делала его похожим на монаха или на беглеца. В классе его не любили — впрочем, «не любили» не вполне точное слово. Его не замечали. А когда замечали — то лишь затем, чтобы задеть. Потому что ничто так не раздражает сытых, как худоба; ничто так не злит уверенных, как молчание; ничто так не провоцирует громких, как тишина.

— Горелов! — голос Карпова разнёсся по классу, как удар линейкой по столу. — Ты опять в свитере, в котором бабка похоронена? У тебя вообще другие вещи есть?

Смех. Тот особый, стадный смех, который не имеет ничего общего с весельем, а есть лишь демонстрация: я с ним, я на правильной стороне, я не жертва. Арсений знал этот смех наизусть — он слышал его сотни раз, в разных классах, от разных людей, но всегда одинаковый, как будто записанный на одну и ту же плёнку.

— Отстань, — сказал он тихо, не поднимая глаз от тетради.

Он листал страницы — механически, бессмысленно, просто чтобы занять руки. Тетрадь была по истории, но он не видел ни дат, ни имён. Он видел только собственные пальцы — длинные, бледные, с обкусанными ногтями — и думал о том, как важно сейчас не покраснеть. Потому что если покраснеть — конец. Если голос дрогнет — конец. Если хоть одна мышца на лице выдаст, что удар достиг цели, — завтра будет хуже. Послезавтра — ещё хуже. И так до самого выпускного.

Карпов не отстал. Он никогда не отставал. Отстать для него означало проиграть, а проигрывать он не умел — вернее, не позволял себе. Он поднялся со своего места, пересёк класс — не спеша, вразвалочку, как хозяин — и сел на край арсениевой парты. Сел так, что одна его нога почти касалась тетради, в которую минуту назад смотрел Арсений.

— Чего? Не слышу. — Карпов наклонился вперёд, изображая глухого. — Ты, может, оглох от своих аниме? Или от голода? Мамка-то твоя всё на трёх работах, покормить не успевает?

И вот тут — в этом месте — Арсений вскинулся.

Это было почти незаметное движение, но Карпов уловил его сразу. Как хищник улавливает дрожь жертвы. В глазах Арсения что-то мелькнуло — не страх, не злость даже, а то, что бывает, когда наступаешь на самое больное. Мать. Мать, работающая на трёх работах. Мать, приходящая за полночь и засыпающая прямо в пальто. Мать, про которую нельзя было говорить — никому и никогда, а тем более ему, Карпову, который понятия не имел, что значит ждать маму с работы, прислушиваясь к каждому шагу на лестнице.

— Моя мама тут ни при чём, — сказал Арсений, и голос его, обычно глухой и бесцветный, прозвенел металлом. — Слезь с парты.

И тут случилось странное. Карпов — на секунду, на долю секунды — замешкался. Не потому, что испугался. А потому, что почувствовал: здесь граница. Здесь то самое, за чем — уже не игра. Но он не мог отступить. Отступить при всех означало потерять лицо. А лицо для таких, как Карпов, было важнее всего.

— Ой, какие мы гордые, — протянул он, и голос его стал ещё громче, ещё наглее — так всегда бывает с людьми, которые боятся показать, что дрогнули. — Горелов-благородный. Слышь, а ты в курсе, что про тебя мемы ходят? Хочешь покажу?

Он полез в карман за телефоном. Это был последний, решающий ход. Мемы — это не просто шутки. Мемы — это улика. Доказательство того, что ты не просто нелюбим, а смешон. Что ты — посмешище. Что весь класс, вся школа, весь мир — против тебя.

И Карпов знал это. Знал и наслаждался.

— Карпов, прекрати. Учитель идёт.

Голос прозвучал с первой парты — негромкий, ровный, почти равнодушный. Это сказала девочка. Та самая, что всегда сидела впереди и никогда не оборачивалась. Арсений даже не знал её имени — вернее, знал, но никогда не произносил вслух, потому что она была из другого мира, из мира, где не носят толстовки с чужого плеча и не прячут глаза.

И странное дело: Карпов остановился. Не потому, что испугался девочку или учителя. А потому, что любая игра имеет свой ритм, и ритм этот был сбит. Он слез с парты — нехотя, медленно, как слезает с дерева сытый кот, — и, проходя мимо Арсения, толкнул его учебник на пол.

— Потом договорим, Горелов, — бросил он через плечо.

Учебник упал с тем глухим, неприятным звуком, с каким падают только книги — звуком, в котором слышится что-то почти живое, как будто книге тоже больно. Арсений наклонился, поднял его, положил на парту. Старался, чтобы руки не дрожали.

Это было его главное правило — не показывать, что тебе больно. Если покажешь — станет только хуже. Он усвоил это ещё в пятом классе, когда после первого раза заплакал в туалете, а на следующий день его ждали уже с камерой. С тех пор лицо его — особенно в школе — было гладким и бесцветным, как речная галька. Галька не плачет. Галька не кричит. Галька не жалуется. Галька просто лежит на дне и ждёт, пока вода сотрёт её в пыль.

Ему кажется, что все смотрят на него. Что все видят его неловкость, его прыщи, его слишком длинные руки, его слишком бедную одежду. И это чувство — не вполне ложное: люди действительно смотрят. Дети — особенно. Потому что дети жестоки не от природы, а от страха. Они боятся оказаться на месте изгоя — и поэтому с такой яростью загоняют в изгой другого. Они думают: если я с ними, если я смеюсь вместе с ними, если я показываю пальцем — меня не тронут. Меня простят. Меня признают своим.

Но Арсений знал то, чего не знали они: своего не признают никогда. Свой — это тот, кто смеётся. А тот, над кем смеются, — никогда не свой. Его можно терпеть. Его можно не замечать. Его можно, в лучшем случае, жалеть — украдкой, чтобы никто не видел. Но своим он не станет. Потому что своя стая всегда строится против кого-то. И если ты не против — ты мишень.

Он сидел за своей партой и смотрел в окно. За окном было серое небо — такое же серое, как его толстовка, как его лицо, как его жизнь. Деревья во дворе уже почти облетели, и чёрные, голые ветки царапали тучи, как пальцы. Он думал о том, что в мире есть страны, где никогда не бывает зимы. Где всегда тепло. Где можно ходить в лёгкой одежде и не бояться, что кто-то спросит, не похоронена ли в ней твоя бабушка.

И ещё он думал о матери. О том, как она вчера пришла в одиннадцатом часу, села на кухне и долго смотрела в одну точку, не снимая пальто. Он сделал ей чай. Поставил на стол. Она поблагодарила — не глядя, каким-то чужим, механическим голосом. И он вдруг подумал: а что, если однажды она не придёт? Что, если однажды — на какой-нибудь из трёх работ, на какой-нибудь из трёх дорог — с ней что-то случится? И тогда он останется один. Совсем один. С этой толстовкой, с этими учебниками, с этими мемами, которые ходят про него по школьным чатам.

И от этой мысли ему стало так холодно, как не было даже тогда, в пятом классе, когда он плакал в туалете.

Звонок.

Резкий, пронзительный, как крик. Класс зашевелился, задвигал партами, зашумел — тот особый, хаотичный шум, который бывает только в школах и который не спутаешь ни с чем. Арсений вздрогнул — но тут же взял себя в руки. Раскрыл тетрадь. Взял ручку. Приготовился писать.

Вошёл учитель — пожилой, в мятом пиджаке, с портфелем, набитым бумагами. Он был из тех учителей, которые давно уже не ждут от учеников ничего, кроме тишины. И ученики платили ему тем же — сидели тихо, занимались своими делами и не мешали.

— Итак, — сказал учитель, раскрывая журнал. — Тема сегодняшнего урока...

Но Арсений не слушал. Он смотрел в окно, на серое небо, на чёрные ветки. И думал о том, что мир состоит из двух половин. В одной — Карпов, мамы, смех, громкие голоса. В другой — тишина, толстовка, мама на трёх работах и это странное, почти невыносимое чувство, что ты — галька. Что ты лежишь на дне. И что вода когда-нибудь сотрёт тебя в пыль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.